



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

«Губернские очерки. Из записок отставного надворного советника Щедрина».

Собрал и издал М. Е. Салтыков. Два тома. М., 1857

<Фрагменты>

Давно уже не являлось в русской литературе рассказов, которые возбуждали бы такой общий интерес, как «Губернские очерки» Щедрина, изданные г. Салтыковым. Главная причина громадного успеха этих рассказов очевидна каждому. В них очень много правды, — очень живой и очень важной.

Мы не будем говорить о том, как много чести приносит русскому обществу то, что правда принята им с таким одобрением и участием. Не будем говорить и о том, как отрадно каждому, любящему свое отечество, это общее чувство, служащее свидетельством господства честной мысли в нашем обществе [столь часто осуждаемом и многими сторонами своего быта заслуживающем осуждения]. Это понимается каждым.

Не будем много говорить и о том замечательном обстоятельстве, что правда, высказываемая надворным советником Щедриным, правда, часто очень горькая, не вызвала со стороны немногих, которым она должна быть неприятна, тех ожесточенных нападений, какими двадцать и пятнадцать лет тому назад встречены были «Ревизор» и «Мертвые души». Значит, не даром прошел для нас опыт жизни <...>.

Но если для всех уже очевидно теперь, что необходимо для нас знать о себе правду, если большинство, одобряющее писателей, выказывающих ее, так огромно, что бывшие противники ее или сознаются в том, что прежняя вражда их была не справедлива, или лишились отважности защищать свое несправедливое дело, то далеко еще не все согласны в том, какой существенный смысл имеют сочинения, одобряемые всеми за правдивость. Все согласны в том, что факты, изображаемые Гоголем, г. Тургеневым, г. Григоровичем, Щедриным, изображаются ими верно, и для пользы нашего общества должны быть приводимы перед суд общественного мнения. Но сущность бел-

летристической формы, чуждой силлогического построения, чуждой выводов в виде определительных моральных сентенций, оставляет в уме многих читателей сомнение о том, с каким чувством надобно смотреть на лица, представляемые нашему изучению произведениями писателей, идущих по пути, проложенному Гоголем; сомнение о том, должно ли ненавидеть или жалеть этих Порфириев Петровичей, Иванов Петровичей, Фейеров, Пересечкиных, Ижбурдиных¹ и т. д.; надобно ли считать их людьми дурными по своей натуре, или полагать, что дурные их качества развились вследствие посторонних обстоятельств, независимо от их воли. Сколько можно заключать из журнальных отзывов и из разговоров, которые каждый из нас много раз имел случай слышать в обществе по поводу произведений, подобных «Губернским очеркам» Щедрина, надобно думать, что очень значительная часть, — быть может, большинство публики, склоняется на сторону первого мнения. Подьячий, рассказывающий надворному советнику Щедрину о «прошлых временах», восхищается тем, что в эти «прошлые времена» все было шито и крыто, взяточники не опасались никаких преследований и наживались очень спокойным образом; он восхищается бессовестными проделками Ивана Петровича и с некоторою гордостью вспоминает, что сам был не последним сподвижником этого удивительного изобретательного взяточника. Проделки, отчасти одобряемые, отчасти совершенные подьячим-рассказчиком, каждому образованному и честному человеку кажутся вредными для общества, гнусными, преступными; чувство негодования, ими возбуждаемое, очень легко переходит в чувство нравственного беспощадного осуждения человеку, совершившему или одобряющему эти дела, и очень многие из людей, восхищающихся «Губернскими очерками», объявляют его человеком очень дурным, совершенно бессовестным. Иные, пожалуй, скажут, что этот подьячий даже находит положительное удовольствие в совершении мошеннических проделок и низких преступлений; что он влечется к ним не одною только выгодой, но и душевным расположением. Он сам подает основание к такому понятию о себе; он прямо говорит, что в его времена люди, которых он хвалит, главное удовольствие свое находили не просто в том, что много получают денег, а в том, что получают их хитрым мошенничеством. «Вот-с какие люди бывали в наше время, говорит он: — это не то что грубые взяточники или с большой дороги грабители; нет, все народ — аматёр был. Нам и денег, бывало, ненадобно, коли сами в карман лезут; нет, ты подумай, да прожект составь, а потом и пользуйся, пожалуй». Одною из своих сослуживцев, который не был аматёром мошенничества,

а просто из любви к деньгам брал взятки, подъячий этот просто осуждал, как профана, не понимающего высших наслаждений мошенничества. «Мы, чиновники, этого Фейера не любили, — говорит он: — у него все это как-то уж больно просто выходило, — так, ломит нахрапом с плеча, да и все. Что ж и за удовольствие этак-то служить!» Не правда ли, он сам выставляет себя бесом, любящим зло не только из выгод, доставляемых злом, но и для самого зла? Возьмем другой пример: Палахвостов, Ижбурдин и Сокуров, коммерческие люди, рассуждают о своих делах. Они прямо говорят, что коммерческий расчет должен состоять в мошенничестве. Они жалуются на медленность и расходы, соединенные с доставкой хлеба в Петербург водяным путем; но на замечание, что железные дороги избавят нашу торговлю от этих тяжелых затруднений, они прямо отвечают: «Для нас чугунки все равно что разорение. Это (устроить железные дороги) для нас было бы все единственно, что в петлю лезть. Это все враги нашего отечества выдумали, чтоб нас как ни на есть с колеи сбить. Основательный торговец никогда в экое дело не пойдет, даже и разговаривать-то об нем не будет, по той причине, что это все одно, что против себя говорить». Почему же так? Потому что при перевозке товаров по железной дороге нет возможности ни обсчитывать рабочих в расчете, ни нарушать контракты на поставку товаров, сваливая вину на Волгу, потопившую или задержавшую суда. Торговле будет придано гораздо более живости и обширности, она будет доставлять более выгод, — нужды нет; все-таки железные дороги не нравятся Ижбурдину и его товарищам, потому что прекращают возможность мошенничества. Не ясно ли, что эти люди не просто корыстолюбивые, а любящие зло для самого зла, — любящие зло, хотя бы оно было даже вредно для них самих? Почти такие же черты можно отыскать почти во всех других людях, изображаемых Щедриным. Почти все они могут представляться, и действительно представляются многим из читателей, изъеденными нравственною порчею до глубины души, не сохранившими в себе никакого человеческого чувства [представляются гнусными извергами и мошенниками, скорее похожими на вампиров или бесов, нежели на людей. Из «Губернских очерков» и других подобных им произведений нашей литературы, начиная с Гоголя, очень многие выносят убеждение, что Россия населена чудовищами, имеющими только наружность человека, но лишенными всех качеств человеческой души, всякого понятия о добре и правде].

Такой взгляд на людей, изображаемых Гоголем и его последователями, внушается негодованием, источник которого, конечно, благороден. Но тем не менее надобно сказать, что подобный взгляд поверхностен,

что если мы внимательнее всмотримся в большинство людей, выводимых Гоголем и его последователями, то должны будем отказаться от слишком строгого приговора против этих людей. Мы не найдем возможности называть их людьми добродетельными: в самом деле, они совершают очень много дурных поступков, имеют много дурных привычек, держатся многих дурных правил, но все-таки нельзя сказать, чтобы большинство этих людей не имело в себе также многих хороших чувств. Чтобы убедиться в том, попробуем внимательнее посмотреть на людей, встречающихся нам в рассказах Щедрина. Мы берем его «Губернские очерки» для этого испытания, потому что ни у кого из предшествовавших Щедрину писателей картины нашего быта не рисовались красками, более мрачными. Никто (если употреблять громкие выражения) не карал наших общественных пороков словом, более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большею беспощадностью. У него нет ни одного веселого или легкого выражения, не только целого очерка, — у него нет не только целого рассказа, похожего на «Коляску», или на «Тяжбу», или на «Лакейскую» Гоголя, — нет двух строк, которые бы ни были пропитаны грустным чувством. Он писатель, по преимуществу [скорбный] и негодующий. Если кто из наших беллетристов, то, конечно, он приводит вас к самым тяжелым мыслям, к самым безотрадным заключениям. Посмотрим же, однако, каковы будут выводы о большинстве людей, им изображаемых, если мы пристальнее всмотримся в жизнь этих людей.

В каждом обществе есть люди с дурным сердцем, с душой решительно низкою. И в древнем Риме, отечестве героев, были трусы, и в Германии, классической стране честности, есть люди коварные [недобросовестные]. Есть они и во Франции, и в Англии, и в Соединенных Штатах. Есть такие люди и в нашем обществе. Попадают они и в числе лиц, выводимых Щедриным. Таков, например, Порфирий Петрович, принадлежащий к семейству Чичиковых, но отличающийся от Павла Ивановича Чичикова тем, что не имеет его мягких и добропорядочных форм и более Павла Ивановича покрыт грязью всякого рода; такова, например, мать приятного семейства, Марья Ивановна Размановская; таковы два-три из числа преступников, находимых Щедриным в городской тюрьме; таков особенно безымянный господин, эlegantный и просвещенный, монолог которого мы читаем в очерке, имеющем заглавие «Озорники», — гнуснее этого человека читатель не находит во всей книге Щедрина. Этих людей защищать нельзя. Они действительно злы и ненавистны. Но в толпе лиц, выводимых Щедриным, они составляют очень малочисленное меньшинство, как действительно составляют меньшинство довольно малочисленное

и в нашем обществе. Другие люди не таковы: в них вы откроете подле дурных качеств и некоторые черты, примиряющие нас с их личностью. Дурные поступки и привычки их извиняются обстоятельствами их жизни и нравственною близорукостью, наваянною на них туманной средой, в которой развились и живут они. Они часто не замечают разницу между хорошим и дурным, не умеют понимать дурноты многого дурного; но тех-то дел, дурноту которых они понимают, они стараются не делать; они отвращаются от таких дел, гнушаются ими; если же, по слабости характера, или по ошибке, или по тяжелому стечению обстоятельств, случится им сделать поступок, дурные стороны которого они понимают, то они осуждают себя за этот поступок и осуждают искренно. Таких людей нельзя назвать дурными по сердцу. Кроме того, они даже не лишены некоторых возвышенных и бескорыстных стремлений. «Как? в подьячем, рассказывающем о прошлых временах, или в Ижбурдине с товарищами, вы находите вместе с дурными чертами и некоторые качества, заслуживающие извинения? — заметит иной читатель, безусловно их осудивший: — вы находите, что эти люди могут делаться людьми честными и, чего доброго, — вы, пожалуй, скажете, могут сделаться даже людьми добродетельными: не слишком ли много этим сказано?» Это мы посмотрим. Но прежде всего напомним, что не оправдывать или извинять их пороки мы хотим, а говорим только, что даже и в этих порочных людях человеческий образ не совершенно погиб, и, при других обстоятельствах, могли бы и эти люди отстать от своих дурных привычек.

Вот, например, разберем поближе обстоятельства и жизнь подьячего, рассказывающего о прошлых временах, и, быть может, мы увидим, что он в сущности не такой бессовестный и бездушный человек, как может представляться на первый взгляд. Если мы вздумаем судить по понятиям, отвлеченным от жизни, то, конечно, надобно будет сказать, что он мог найти в различных честных промыслах средство приобретать недостающие ему деньги. Он мог заняться каким-нибудь ремеслом. Так; но все эти занятия считаются неблагородными, и общество строго осудило бы заседателя. Можно ли порицать человека за то, что он, по своим понятиям, не выше того общества, в котором вырос и живет, или не имеет такой энергии характера, чтобы пойти наперекор общественным предрассудкам? Но одни ли предрассудки удерживали подьячего от других занятий? Нет, такие занятия были бы для него опасны: они повредили бы его службе. О нем подумали бы, что он службою занимается только для формы, пренебрегает ею для своего ремесла, и он скоро прослыл бы неисправным, нерадивым человеком. Это помешало бы его повышению по службе, а может быть,

повлекло бы за собою и потерю того места, которое он уже занимал. Как бы то ни было, этот человек прежде всего чиновник и больше всего должен дорожить своею служебною карьерою. Можно ли осуждать его за то, что он не решается заняться делом, которое было бы вредно его служебной карьере? Кроме того, действительно ли была ему возможность заняться каким-нибудь ремеслом? Нечего говорить о том, что ремесло требует изучения, а он не научен ничему. Но возьмем другое условие. Производителю нужны покупщики, а где бы он нашел их? Существующему запросу на товары уже удовлетворяют цеховые ремесленники и торговцы. Он не нашел бы покупателей для своих произведений или должен был бы продавать в убыток. И так заседателю земского суда неприлично пред обществом, вредно по службе, убыточно в экономическом отношении и, наконец, невозможно по личной его неприготовленности искать пособий для своего существования в каком-нибудь торговом или промышленном занятии. Но почему бы не заняться ему ходатайством по частным делам? Опять-таки практическая невозможность. Ходатайствовать по мелким делам вовсе не выгодно, как видим по образу жизни отставных уездных чиновников вроде Ризположенского (в комедии г. Островского «Свои люди — сочтёмся») и Перегоренского (в «Губернских очерках»). Единственное вознаграждение, на которое они могут рассчитывать, — несколько рюмок или стаканов водки: домашний быт ходатая по делам не улучшится от таких вознаграждений. А ходатайство по важным делам нашему рассказчику о прошлых временах не поручат; для того выберут агента поважнее, нежели уездный чиновник или столоначальник губернского места. Но самое важное обстоятельство здесь та привычка, которую мы очень хорошо узнаем из Гоголя и его последователей. Люди, заинтересованные в каком-нибудь деле, находят, что гораздо удобнее для них обращаться с своими желаниями прямо к тем людям, в руках которых находится производство их дел, и считают вовсе не выгодным для себя иметь каких-либо других ходатаев по делам. При наших провинциальных нравах адвокаты совершенно излишни. Их советы совершенно заменяются усердием чиновников, производящих дело, которые всегда готовы помочь добрым советом тяжущемуся: они объяснят ему, как начать дело, какое направление давать ему, на какие законы опираться, какие средства употребить для направления дела в его пользу, — к чему же тут еще ходатай по делам, из людей постоянных производству дела.

Таким образом, посторонних средств к увеличению своих доходов для нашего подьячего не существовало. Он должен был извлекать все свои доходы единственно из своих должностных занятий. Он видел,

как поступают другие, и видел для самого себя необходимость поступить таким же образом. Следовать примеру — дело очень натуральное, и никто не должен обременять какими-либо упреками человека, поступающего так, как поступают все. Хороша ли, дурна ли общая привычка, во всяком случае она уничтожает всякую заслугу или вину в человеке, ее держащемся. Но довольно ли сказать, что общая привычка только *извиняет* отдельного человека, ей следующего? Обычай никогда не возникает без причины; он всегда создается необходимою силою исторических обстоятельств. Если товарищи нашего рассказчика о прошлых временах и их предшественники с незапамятных времен подчинялись той же самой дурной привычке, как и он, — надобно думать, что были какие-нибудь обстоятельства, не допускаявшие их изменить этой привычке. Одно из этих обстоятельств указывает нам сам подьячий-рассказчик: «Жили мы как у Христа за пазушкой, говорит он. Съездишь, бывало, в год раз, в губернский город, поклонись чем бог послал благодетелям, и знать больше ничего не хочешь». В другом месте, начиная рассказывать о городничем Фейере, он замечает: «Начальство наше все к нему приверженность большую имело, потому как собственно он из воли не выходил и все исполнял до точности: иди, говорит, в грязь — он и в грязь идет, в невозможности возможность найдет, из песку веревку сошьет, да ею же кого следует и удавит». Иначе сказать каждое общественное положение, давая человеку известные права, вместе с тем налагает на него и известные обязанности. Кто не хочет или не может исполнять обязанностей, возлагаемых на него положением, в которое он поставлен, тот должен лишиться и занятого им положения. В этом нет ничего несправедливого.

Возвратимся же к нашему рассказчику о прошлых временах. Мы заговорили о том, что он был бы не совсем прав, если бы не подчинялся общепринятым привычкам. Мы надеемся, что наши слова не будут поняты читателями в ложном смысле. Мы не сомневаемся в том, что многие привычки бывают соединены с некоторыми невыгодами и нуждаются в благоразумных изменениях. Мы хотим только сказать, что не всякому прилично действовать в противность общепринятым обычаям. Возьмем пример незначительный — наши моды. Фрак — костюм неудобный и неприличный. Надобно было бы желать, чтобы он был заменен сюртуком, пальто или каким-нибудь другим подобным костюмом. Если бы знаменитые люди в истории мод, д'Орсе или Бруммель, вздумали решительно восстать против фрака и начали бы являться на балы в сюртуках, очень вероятно, что их дело осталось бы не без влияния на моду. Но каковы будут результаты, если это захочет сделать какой-нибудь г. Иванов, Петров

или Шапошников, и без того допускаемый в так называемое лучшее общество почти только из милости? Пусть он попробует явиться на бал в сюртуке или пальто, — его все назовут невежею; знакомые его деликатно намекнут ему, чтобы он удалился из общества, куда явился в неприличном костюме, и если он не послушается этих дружеских замечаний, сделанных ему шепотом, то они будут повторены уже вовсе не дружеским тоном другими людьми. Произойдет сцена, неприятная для хозяина дома, неприятная для всего собравшегося общества, а более всех неприятная для самого г. Иванова, Петрова или Шапошникова. Как бы ни были разумны и блестящи оправдания с его стороны, как бы ни были хороши его намерения, он все-таки принужден будет удалиться из общества, нравы которого оскорбил, спокойствие которого возмутил. Не легко будет потом ему возвратиться к себе снисходительное внимание, которым его до сих пор удостоивали, не легко будет снова получить доступ в лучшее общество, хотя бы он искренно раскаялся в своем неблагоприятном поступке. Если же он будет упорствовать в своей решимости — являться в сюртуке там, где все во фраках, то, конечно, он будет навсегда изгнан из таких собраний, и общественное мнение, по всей справедливости, объявит его человеком, которого нельзя принимать ни в какое порядочное общество. Вероятно, нет надобности прибавлять, что пример, поданный так неудачно и неприлично г. Ивановым или Петровым, не найдет ни одного подражателя; что пока памятен будет этот пример, каждый из людей, подобных этому Петрову и Иванову по своему положению в обществе, будет ужасаться при одной мысли восстать против фрака.

Мы взяли такое дело, исполнению которого нет решительно никаких препятствий, кроме привычки. Но только в таких ничтожных, чисто формальных вещах, как вопрос о фраке и сюртуке, привычка не имеет важных фактических оснований. Как скоро житейский вопрос имеет хотя малейший хороший или дурной смысл, общее привычное решение его бывает непременно основано на каких-нибудь важных житейских фактах. <...> Если же какой-нибудь обычай, по-видимому, неразумный и невыгодный, упорно держится в народных нравах, то не спешите называть его просто следствием предубеждений. Надобно прежде поискать, не опирается ли он на каких-нибудь фактах? <...>

Мы не расположены осуждать подьячего прошлых времен за его пристрастие к службе уже и потому, что, если бы он оставил службу, его место было бы занято другим, который находился бы точно в таком же положении. Следовательно, тут изменение могло бы быть только в фамилии лица, а не в сущности дела.

<...> Мы опять далеко уклонились от нашего подьячего прошлых времен, вовсе не подозревавшего, что кто-нибудь может сказать ему: зачем ты предпочел службу какому-нибудь ремеслу? Наверное, он нашел бы такой вопрос нелепым, и весь тот городок, в котором он служил, также в один голос объявил бы этот нелепый вопрос действительно нелепым. Так или иначе, наш подьячий служил и не мог не сообразоваться на службе с общепринятыми правилами. Посмотрим же теперь, какова была его служба и справедливо ли было бы сказать, что он действовал на службе против своей совести или оскорбил чем-нибудь общее мнение, которым воспитался и руководился. Он человек не без грехов; но что же в том особенного? Все мы смертны и грешны. Героев добродетели во все времена и у всех народов очень мало. Он брал взятки, это правда. Но его товарищи делали то же самое, и даже те люди, с которых он брал взятки, были убеждены, что без благодарности ни одно дело никем не делается. Все они осуждали только таких взяточников, которые, взяв деньги, не исполняют дело, за которое получена взятка, или прибегают к особенному обману, или к особенным жестокостям. Он ничего такого не делал. Рассмотрим его похождения. Он приехал в Шарковскую область для собрания подати. Поселяне знают, что подать нужно заплатить, но они просят его подождать до того времени, пока они продадут новый хлеб. Согласиться или не согласиться на эту просьбу — в его власти: он имеет право требовать подати теперь же. За каждую добровольную уступку человек может ожидать вознаграждения от тех, в пользу кого делается уступка. Так думают поселяне, так думает и он. Потому обеим сторонам кажется очень естественным требование нашего подьячего прежних времен, чтобы ему за его снисходительность дали приличное вознаграждение. Конечно, как и при всякой сделке, тут происходят споры о цифре. Конечно, сторона, дающая вознаграждение, не совсем охотно расстаётся с деньгами; но и тут нет ничего особенного: сама по себе уплата ни для кого ни в каком случае не есть что-либо приятное. Против такого понятия читатель заметит, что точка зрения, с которой смотрят на изложенное нами дело подьячий и поселяне, совершенно фальшива. Конечно, эти люди ошибаются в своих понятиях, но дело не в том. При обсуждении вопроса: честно или бесчестно поступает человек, должно смотреть не на то, справедливы ли его убеждения, а на то, действительно ли он поступает сообразно своим убеждениям.

Перечитав рассказы подьячего прошлых времен, мы видим, что он во всех делах поступал согласно своему убеждению о сущности своего звания, своих прав и своих обязанностей и что это убеждение разде-

лялось теми людьми, с которыми он заключал свои сделки. Потому образ его действий вообще не заслуживал особенного порицания.

Как человек, не отличавшийся ни гениальным умом, ни железным характером, он иногда подчинялся влиянию людей, натура которых была сильнее его натуры, — и в том нет ничего особенно бесчестного. Когда эти сильнейшие натуры бывали дурны, наш подьячий вовлекался в такие поступки, которых не сделал бы сам по себе. Однако ж и тут мы не видим, чтобы он слишком далеко уклонялся от правил, внушаемых ему его убеждениями. Разберем самое дурное из этих дел. Чтобы читатель не мог предполагать укрывательства каких-нибудь обстоятельств из пристрастия к нашему подьячему, мы вполне выпишем весь этот эпизод.

«Жил у нас в уезде купчина мильонщик, фабрику имел кумачную, большие дела вел. Ну, хоть что хочешь, нет нам от него прибыли, да и только! так держит ухо остро, что на-поди. Разве только иногда чайком попотчует, да бутылочку холоденького разопьет с нами — вот и вся корысть. Думали мы, думали, как бы нам этого подлеца-купчишку на дело натравить — не идет, да и все тут, даже зло взяло. А купец видит это, смеяться не смеется, а так, равнодушествует, будто не замечает.

Что же бы вы думали? Едем мы однажды с Иваном Петровичем на следствие: мертвое тело нашли неподалеку от фабрики. Едем мы это мимо фабрики и разговариваем меж себя, что вот, подлец, дескать, ни на какую штуку не лезет. Смотрю я, однако, мой Иван Петрович задумался, и как я в него веру большую имел, так и думаю: выдумывает он что-нибудь, право, выдумывает. Ну, и выдумал. На другой день, сидим мы это утром и опохмеляемся.

— А что, — говорит: — дашь половину, коли купец тебе тысячи две отвалит?

— Да что ты, Иван Петрович, в уме ли — две тысячи!

— А вот увидишь; садись и пиши:

“Свиногорскому 1-й гильдии купцу, Платону Степановичу Трокуррову. Ведение. По указаниям таких-то и таких-то поселян (валяй больше) вышепоименованное мертвое тело, по подозрению в насильственном убийтии с таковыми же признаками бесчеловечных побоев, и притом рукою некоего злодея, в предшедшую пред сим ночь скрылось в фабричном вашем пруде. А посему благоволите в оный для обыска допустить”.

— Да помилуй, Иван Петрович, ведь тело-то в шалаше на дороге лежит!

— Уж делай, что говорят.

Да только засвистал свою любимую: “При дороженьке стояла”, а как был чувствителен и не мог эту песню без слез слышать, то и про-

слезился немного. После я узнал, что и впрямь велел сотским тело-то на время в овраг куда-то спрятать.

Прочитал борода наше ведение, да так и обомлел. А между тем и мы следом на двор. Встречает нас, бледный весь.

— Не угодно ли, мол, чаю откушать?

— Какой, брат, тут чай! — говорит Иван Петрович: — тут нечего чаю, а ты пруд спускать вели.

— Помилуйте, отцы родные, за что разорять хотите?

— Как разорять! видишь, следствие приехали делать, — указ есть.

Слово за словом, купец, видит, что шутки тут плохие, хоть и впрямь пруд спущай; заплатил три тысячи, — ну, и дело покончили. После мы по пруду-то маленько поехали, крючками в воде потыкали и тела, разумеется, никакого не нашли. Только я вам скажу, на угощеньи, когда уж были мы все выпивши, и расскажи Иван Петрович купцу, как все дело было: верите ли, так обозлилась борода, что даже закоченел весь! Ведь этакое, подумашь, ожесточение в людях бывает».

Дело очень дурное, скажет читатель, и мы скажем вместе с ним, только прибавим: очень дурное по нашим понятиям, но не по мнению людей, в нем участвовавших: с их точки зрения также было в этом деле обстоятельство, не совсем похвальное, но каково это обстоятельство, мы узнаем от них самих. Чиновникам не было прибыли от богатого фабриканта. Чиновники считали фабриканта дурным человеком за то, что он не исполняет своих обязанностей относительно к ним (наш подьячий прямо называет его подлецом); сам фабрикант смотрел на себя не как на человека, отклоняющего несправедливые притязания, а как на человека, который, по своему уму и своей ловкости, умеет уклоняться от исполнения невыгодных для него обязанностей. Чиновники обижены, купец гордится своим торжеством над ними. («Думали мы, думали, как бы нам этого подлеца-купчишку на дело натравить — не идет, да и все тут, даже зло взяло. А купец видит это, смеяться не смеется, а так, равнодушествует, будто не замечает»). Наконец чиновники перехитрили купца и получили от него прибыль. Купец озлобился; но за что? За то ли, что с него взяли деньги? Нет. Хотя ему неприятно было платить, но он полагал, что обязан заплатить. Отдавши деньги, он начинает пировать вместе с чиновниками и вместе с ними напивается пьян. Этого он не сделал бы, если бы считал себя обиженным. Как человек гордый, он ушел бы из-за стола, если б чувствовал себя обиженным; как человек хитрый, он бы нашел благовидный предлог уйти. Но этого не было. Как видим, до сих пор обе стороны остаются довольны любовною сделкою. Но когда все были навеселе, Иван Петрович рассказал фабриканту

свою хитрую выдумку — похвастался тем, что перехитрил его. Тут фабрикант обиделся, рассердился. За что же рассердился? Очевидно, за то, что нашелся человек хитрее его и хвастается в глаза ему тем, что перехитрил его. Мы с самого начала сказали, что между людьми, выводимыми в «Очерках» Щедрина, есть люди дурные, достойные порицания, что Иван Петрович принадлежит к таким людям, что мы не хотим защищать его. Иван Петрович действительно был виноват и в этом случае; однако в чем же состоит его проступок в этом деле? Он похвастался, он затронул амбицию человека, — это не деликатно. Но, осуждая не деликатность Ивана Петровича, не забудем, что он начал хвастаться, когда был уже навеселе. Пока он был трезв, он был скромнен. И тут, как во многих случаях, лишняя чарка испортила дело.

За пристрастие к чарке осуждает Ивана Петровича и наш подьячий, как осуждали, конечно, все благомыслящие люди. Если бы вы увидели те пирушки, в которых участвовал наш подьячий, эти пирушки показались бы вам, без сомнения, грязны и гадки. Но это потому, что вы человек другого воспитания, других привычек. Не будьте слишком строги к людям, не имевшим случая приобрести изящные манеры и тон лучшего общества. Ведь вы не осуждаете вашего приятеля, когда он за обедом выпивает стакан бургонского или шампанского? Вы находите дурным только то, если ваш приятель пьет неумеренно. Точно так же судит и наш подьячий. Он строго осуждает Ивана Петровича за подобный порок: «был в Иване Петровиче грех, — говорил подьячий, — к напитку имел не то что пристрастие, а так какое-то остервенение. Конечно, и все мы этого придерживались, да все же в меру: сидишь себе да благодумствуешь, и много-много что в подпитии; ну, а он, я вам доложу, меры не знал, напивался даже до безобразия лица». Видите ль, наш подьячий не только не пьяница, он гнушается пьяницами. Видите ли, если случилось ему в дружеской беседе выпить несколько рюмок, то никогда не напивался он допьяна. Ни один из друзей, ни мать, ни жена, конечно, не осуждали его за то, что он не отказывается от рюмки водки.

[Теперь мы достаточно приготовлены к тому, чтобы беспристрастно смотреть на подьячего старых времен. Но у нас остается еще одно сомнение: вы готовы считать его бессовестным взяточником, как готовы были считать его грязным пьяницей. Последнее предубеждение ваше против него оказалось несправедливым. Несправедливым окажется и первое, если вы внимательнее вслушаетесь в его слова. Взятка, по его мнению], есть любовная сделка. [Понятие это принадлежало не ему одному, а всему обществу, в котором он жил. Припомним то, что говорили мы выше. Для того, чтобы сделка не была достойна

порицания, по законам всех народов и по единодушному мнению всего человеческого рода, при ее заключении *должны быть* соблюдены два условия. Во-первых, согласие на нее должно быть совершенно добровольно с обеих сторон. Во-вторых, обе стороны должны иметь твердое намерение исполнить то дело, совершение которого поставляется им в обязанность заключаемым договором. Точно так думал и наш подьячий, и не только думал, но и поступал согласно этим правилам.] Он никогда не прибегал для заключения сделки к мерам, которые *бы* казались насильственными в глазах его и общества, среди которого он жил («истязаний и вымогательств» он не употреблял сам и не одобрял в Иване Петровиче). Мало того, свои желания он выражал деликатным и ласковым образом. («И все это ласковым словом», — говорит он сам.) Итак, он был человек мягкого характера. За уступки и льготы, которые давал он поселянам, получал он вознаграждение — это правда, но каким образом получал его? Приедет он в село по какому-нибудь делу; поселяне просят, чтобы он скорее отпустил их. «Тут и смекаешь: коли ребята сговорчивы, отчего ж им и удовольствие не сделать? а коли больно много артачиться станут, ну, и еще погодят денек, другой. Главное тут дело характер иметь, не скучать бездельем, не гнушаться избой да кислым молоком. Увидят, что человек-то дельный, так и поддадутся, да и как еще: прежде по гривенке, может, просил, а тут шалишь! по три пятака, дешевле и не моги и думать». [Не ясное ли дело, что он человек не только добрый, но и не корыстолюбивый до излишества. Ведь с самого начала он мог потребовать по три пятака, и, однако ж, он не требует. Он удовольствуется двумя пятаками, чтобы мужичкам не было обидно. <...> «Брали мы, правда, что брали, говорит подьячий, да ведь и то сказать: лучше что ли денег-то не брать, да и дела не делать?»]

Таким образом, самый предубежденный против нашего подьячего читатель должен согласиться, что в общественной деятельности этого подьячего не было ничего, считавшегося дурным или нечестным во мнении как этого подьячего с его товарищами, так и тех людей, которые имели с ними дело. Напротив, были черты, свидетельствовавшие о мягкости, доброте характера, о благорасположении ко всякому хорошему человеку, о желании каждому принести пользу. [Мы опасаемся одного. Наша публика имеет склонность находить иронический и тонкий смысл в том, что говорится совершенно прямо. Быть может, кому-нибудь вздумается полагать, что мы шутим, защищая личность подьячего прошлых времен. Шутка эта была бы очень плоска. Мы говорим совершенно прямо и просто, употребляя все слова в прямом их смысле]. Поступки, совершаемые подьячим, дурны. Люди с подобными

ему понятиями вредны для общества. Но из этого не следует, чтобы сами по себе эти люди непременно были дурными людьми. Повторяем то, что уже несколько раз говорили выше. Хвалить и бранить можно только людей эксцентрических, поступающих не так, как поступает огромное большинство людей в их время и в их положении. Привычки и правила, руководящие обществом, возникают и сохраняются вследствие каких-нибудь фактов, независимых от воли человека, им следующего; на них надобно смотреть непременно с исторической точки зрения. <...> [Если мы успели убедиться в том, что подьячий прошлых времен, хотя и держался привычек, вредных для общества, не делал, однако же, в своей должностной жизни ничего такого, что давало бы нам право приписывать лично ему какие-нибудь особенно дурные душевные качества, — если мы успели убедиться в этом, то еще гораздо легче будет нам убедиться, что в частной своей жизни он был человеком положительно хорошим. Он жил в приязни со своими товарищами и обществом. Не говорите, что то была приязнь, связывающая шайку грабителей. Во-первых, не одни сотоварищи принадлежали к числу его приятелей. Тут были не только люди, с которыми он делился взятками, но также и люди, с которых он брал взятки. И кроме того, конечно, много таких людей, которые не давали ему и не брали с него взятки. Уездный город не есть одна какая-нибудь шайка. Он состоит из множества кружков, интересы которых различны и даже противоположны. Целого общества вовлечь в состав кружка нельзя, а наш подьячий пользовался добрым мнением не только в своем городе, но и в целом уезде. О том сотовариществе, к которому он принадлежал, мнения были, конечно, различны. Те классы людей, которые терпели от привычек, общих всему сотовариществу, конечно, смотрели на все это сотоварищество враждебными глазами. Но лично о нашем подьячем никто не говорил ничего дурного. <...>].

Нет надобности доказывать, что наш подьячий старых времен был хорошим семьянином. С этой стороны он очень точно обрисован г. Островским в последней его комедии². Белогубов — большой руки взяточник; но посмотрите на него в домашнем быту, и вы убедитесь, что он человек очень добрый и в родственных отношениях даже благородный. Тот, кто щедро помогает своей бедной теще, при всей несносной сварливости ее характера, кто не жалеет ничего, чтобы помочь бедной свояченице и ее мужу, хотя этот муж постоянно оскорблял и оскорбляет его самым чувствительным образом, тот, воля ваша, не есть дурной человек.

Мы очень долго останавливались на рассказах подьячего о прошлых временах [стараясь показать, что этот подьячий и огромное

большинство его товарищей вовсе не были людьми дурными]. <...> [Но у нас многие привыкли говорить о том, что язва взяточничества неисцелима, что весь многочисленный класс так называемых взяточников состоит из каких-то извергов, недостойных имени человеческого и никогда ни при каких обстоятельствах не могущих сделаться из людей гибельных для общества людьми достойными уважения и действительно полезными для своей родины.]

Было бы утомительно и бесполезно столь же долго останавливаться на других типах взяточников, выводимых Щедриным, кроме тех немногих, дурных по сердцу людей, <...> которые могут служить для рельефности картины, но по своей малочисленности не могут иметь особенной важности в общественных вопросах: о каждом из остальных взяточников надобно сказать почти то же самое, что о подьячем прошлых времен. <...> ...взглянем на представителей другого класса людей, послушаем беседу трех негоциантов о том, «что такое коммерция?». Мы уже замечали, что, подобно подьячему прошлых времен, Палахвостов, Ижбурдин и Сокуров могут представляться поверхностному взгляду людьми, лишенными всякого понятия о честности, «аматёрами» зла, по выражению подьячего прошлых времен. Каждый из них совершенно хладнокровно и даже с похвалбою говорит о своих мошенничествах. Каждый думает только о том, как бы придумать обман похитрее. Но когда мы беспристрастно выслушаем их показания о причинах, принуждающих их вести свои дела подобным образом, то придем к заключению такому же, какое сделали о подьячем прошлых времен. [Лично каждый из них не виноват в том, что ведет свои дела так, а не иначе. Обстоятельства не дают им возможности иначе вести торговлю. Обычай, которому они следуют, так всеобщ и необходим, что они даже не имеют понятия о лучшем способе торговли.]

Людям, составляющим огромное большинство публики, частный быт наших купцов менее известен по опыту, нежели быт чиновников. Почти каждый из нас имеет в числе своих близких знакомых несколько провинциальных чиновников. Это составляет важную выгоду для отвержения предрассудков против нравственных качеств чиновничьего класса. Находя в числе своих знакомых чиновников людей, достойных полного уважения в частном быту, каждый из нас уже до некоторой степени расположен выслушать апологию чиновничьего класса вообще. Не таково отношение большинства публики к классу купцов. Быть может, половина наших читателей не имела с купцами никаких других сношений, кроме деловых. Сошлемся же на свидетельство тех из наших читателей, которые имели случай близко сходитья с купцами, как добрые знакомые, бывали в купече-

ских семействах, подобно Щедрину, домашними людьми. Конечно, ни один из них не откажется согласиться с Щедриным, выводящим в рассказе «Христос воскрес» светлые личности этого сословия. Мы нимало не расположены считать купеческий, или мещанский, или крестьянский быт идеалом русской жизни, мы совершенно признаем верность тех красок, какими рисуются купцы в «Ревизоре» и «Женитьбе» Гоголя, в комедии г. Островского «Свои люди — сочтемся» и в сцене Щедрина «Что такое коммерция? Но беспристрастие обязывает нас сказать, что люди, подобные Подхалюзину (в комедии г. Островского), должны быть отнесены к исключениям, довольно малочисленным. Все те добрые качества, которыми любит гордиться русский народ, принадлежат также огромному большинству наших купцов. Каковы бы ни были их нравы и привычки, но вообще они люди не только доброжелательные, но и положительно добрые. <...>

Если мы обратимся к изучению картины делового, общественного быта наших купцов, представляемой сценою Щедрина «Что такое коммерция?», прежде всего мы увидим зависимость купеческих дел от чиновников. Очень многие из наших купцов занимаются подрядами и поставками. В большей части провинций таково главное занятие большей части значительнейших купцов. По общему закону торговли во всех странах, образ ведения коммерческих дел определяется тем порядком, каким ведут их первостепенные торговцы. Кроме того, каждый торговый человек имеет по своим делам ежедневную надобность в полицейском управлении и судебном покровительстве. Таким образом, привычки, издавна приобретенные чиновничьим классом, определяют своим характером и порядок нашей торговли. После этого важнейшего обстоятельства надобно принять в соображение медленность и неверность торговых оборотов, происходящую от употребительных доселе средств сообщения. <...> Удивительно ли, что, под влиянием двух столь важных обстоятельств, купечество наше принуждено было прибегать к оборотам, чуждым правильной торговле? [Если характер этих оборотов заключает в себе нечто предосудительное или нечто не совсем выгодное для национального благосостояния, то купечество наше вынуждено было приобрести эти привычки необходимостью вещей, а не каким-нибудь самопроизвольным побуждением]. <...>

Купцы, выводимые Щедриным, сами указывают нам обстоятельства, под влиянием которых установились привычки их торговли. <...>

Отстраните пагубные обстоятельства, и быстро просветлеет ум человека и облагородится его характер. <...> Но никогда в истории не может иметь пример такой силы, чтобы им устранялось действие закона причинности, по которому нравы народа сообразуются с обста-

новкою народной жизни. Десятки тысяч гордых своим достоинством и деятельных англичан живут в Индии среди народа, обстоятельства жизни которого сложились так, что главными чертами нравов его стала низость и лень. Обстоятельства эти до сих пор не устранены, и, как видим, индейцы по-прежнему остаются низки и ленивы, хотя имеют перед глазами множество примеров противных качеств в англичанах. Но пусть англичане позаботятся об отстранении тех фактов, влиянием которых развратились и унизились индейцы; <...> тогда немного нужно будет лет для того, чтобы воскресли в индейском народе трудолюбие, уважение перед законом, любовь к справедливости и чувство человеческого достоинства. <...> О людях с гуманными убеждениями существует у нас поверье, будто они люди вовсе не практические и, принявшись за дело, сочинят такую путаницу, что для замешанного в нее народа будет тяжелее, нежели когда бы попался он в руки подъячему прошлых времен или даже самому Ивану Петровичу. В литературе было очень много заслуженных насмешек над такими людьми; и Щедрин, подобно другим нашим сатирикам, очень строго и справедливо уличает представителя непрактических людей с возвышенными стремлениями в очерке «Неумелые». Но Буеракин не таков. Он человек проникательный. Если он захочет взяться за дело, он сумеет повести дело, как нужно по его мнению.

До сих пор мы очень мало касались воззрений самого Щедрина на людей, им изображаемых. Типы и факты, о которых мы говорили, так просты, что между порядочными людьми не может быть никакого личного различия в понятиях о них. Никто не станет восхищаться подъячим прошлых времен и Ижбурдиным с товарищами. Но на людей, подобных Буеракину, можно смотреть различно. Слова его гуманны. Людям, зависящим от него, приходится жить очень плохо. Очень многие, не колеблясь, скажут, что он человек дурной, говорящий одно, делающий другое, лжец и лицемер. Мнение очень натуральное. Но Щедрин не разделяет его, и в том надобно видеть одно из убедительных доказательств редкого знания жизни и умения ценить людей. У Щедрина Буеракин вовсе не лицемер. Он не только говорит о благе общем, он действительно желает его, насколько понимает. Скажем больше: в том кругу жизни, который зависит от него, он приводит в исполнение те мысли, которые кажутся ему справедливыми. Справедливо сам Буеракин называет себя человеком отменно добрым. Весь тон рассказа свидетельствует, что Щедрин разделяет это мнение. Как честный докладчик, Щедрин нимало не скрывает тех дурных вещей, которые допускаются или даже делаются Буеракиными. Об этих вещах говорит он с справедливым

негодованием, и, однако же, все-таки видно, что он расположен к Буеракину, хотя за многое строго осуждает его. Щедрин не мог бы иметь «добрым приятелем» человека дурного.

Каким же образом человек добрый и хороший, человек с очень просвещенным образом мыслей и пронизательным умом может дозволить делать такие дурные вещи, как Буеракин? Многие скажут: это потому, что он человек бесхарактерный, слабый, изленившийся. Сам Буеракин отчасти намекает на такое объяснение, конечно выгоднейшее для его доброго имени. Он, видите ли, представляет себя чем-то вроде Гамлета, человека сильного только в бесплодной рефлексии, но слабого на дело, по причине отсутствия воли. Это уж не первый Гамлет является в нашей литературе, — один из них даже так и назвал себя прямо по имени «Гамлетом Щигровского уезда», а наш Буеракин, по всему видно, хочет быть «Гамлетом Кругогорской губернии». Видно, немало у нас Гамлетов в обществе, когда они так часто являются в литературе, — в редкой повести вы не встретите одного из них, если только повесть касается жизни людей с так называемыми благородными убеждениями.

Однако ж мы не остановимся на одном прозвании таких людей; нам мало имени, мы хотим знать дело, — мы хотим знать, почему Гамлет — Гамлет, т. е. человек при всех прекрасных качествах своей души делающийся мучением для самого себя и причиною гибели для тех, судьба которых от него зависит и которым он очень искренно желает добра, — например, причиною гибели Офелии и Лаэрта. Одною слабостью характера при силе ума, склонного к рефлексии, этого дела не объяснишь: мало ли людей с слабым характером, сильным умом и склонностью к рефлексии проживают свой век очень счастливо для себя и для близких к себе? Есть тут другое обстоятельство: Гамлет находится в фальшивом или, проще сказать, ненатуральном положении. Он, как сын, должен был бы любить свою мать и, однако же, должен ненавидеть ее, как убийцу своего отца. Он искренно и очень горячо любит Офелию — и, однако же, не считает приличным для себя жениться на ней. Положение обоих дел так противоестественно, что может наделать чепухи в голове человека и не имеющего склонности к рефлексии, может повести к поступкам нелепо непоследовательным и пагубным для него самого и для других даже такого человека, который не отличается особенною слабостью воли. Только немногие негодяи, одаренные очень редкою бессовестностью, или еще менее многочисленные счастливцы, одаренные железным стоицизмом, могли бы поступать благоразумно и быть счастливы на месте Гамлета. Из ста человек девяносто девять,

будучи в его положении, точно так же мучились бы, наделали бы точно таких же бед и себе и другим. Различие темпераментов относительно таких дел имеет мало важности. В том и заключается всемирное значение драмы Шекспира, что в Гамлете вы видите самих себя в данном положении, каков бы ни был ваш темперамент.

Взглянем же с этой точки зрения на нашего Буеракина. Оставим на время психологические особенности его характера. Всмотримся только в его положение, и для вас будет ясно, почему он, говоря так хорошо, поступает так дурно. Отношения его к людям, судьба которых от него зависит, так же не натуральны, как отношения Гамлета к Офелии. Любить женщину и не желать назвать ее своею женою, желать добра людям и вместе с тем брать у них необходимое им, для удовлетворения твоим прихотям, — которое из этих двух положений кажется вам менее противоестественно, менее фальшиво? На наши глаза оба они равно не натуральны, равно дурны.

Многие обвиняют Буеракина в неверности своим убеждениям; быть может, и вы, читатель, назвали его лицемером? В таком случае вы выразились неосторожно и неосновательно. Измена убеждениям! Мизантропы говорят, что это нравственное преступление совершается людьми гораздо реже, нежели как кажется; что человек, сознательно изменяющий своим основным убеждениям, человек, у которого мысль раздвоилась с желанием, такое же редкое явление, как человек, у которого правая половина лица не похожа на левую. <...> Часто сам человек не замечает истинного содержания своих убеждений, воображает, что он думает вовсе не то, что в самом деле он думает, — вот хотя бы, например, Буеракин. Он от искренней души называет себя «негодным» человеком, т. е. негодным для жизни и для принесения пользы ближнему, и воображает, что в самом деле считает себя человеком негодным. А на самом деле неужели таково его убеждение о себе? <...>

В сущности Буеракин вовсе не считает себя человеком недействительным и бесполезным. Напротив, мысль о противоречии его поступков его убеждениям не приходит ему и в голову. Напротив, он гордится своим образом действий, как совершенно сообразным с его убеждениями. <...> ...наружность ленивца действительно не мешает ему быть человеком деятельным. Внимательное рассмотрение его убеждений докажет, что какова бы ни была его деятельность, но она сообразна с его убеждениями.

В самом деле, положение человека имеет решительное влияние на характер его убеждений. Чрез всю историю можно проследить тот неизменный факт, что при переходе человека из наблюдательного,

теоретического положения к практической деятельности он обыкновенно очень во многом начинал следовать примеру своих предместников в этом практическом положении, хотя прежде осуждал их образ действий. Односторонние и поверхностные теоретики называют это недобросовестностью. Но факт, столь всеобщий, не может зависеть от личных слабостей или пороков отдельных людей. Он должен необходимо иметь какие-нибудь основания в самой необходимости вещей. Дело в том, что с каждой новой точки зрения перспектива изменяется. <...>

Итак, два различные положения необходимо ведут к двум различным взглядам на вещи. С изменением положения человека изменяется его точка зрения, изменяется и характер его убеждений. <...>

Различие темперамента, даже (страшно сказать) различие в нравственных качествах человека ничтожно бывает перед влиянием его положения на образ его мыслей. <...>

Если положение человека имеет столь решительную силу над его деятельностью, над миром фактов столь твердых, определительных, неуступчивых, то, конечно, не меньше силы должно оно оказывать над его убеждениями, предметом столь общим, гибким, изменчивым. Утопить или вытащить из воды человека — вот факты: в них нет двусмыслия, в них невозможна ошибка. Я топлю человека: я не могу ошибаться в смысле своего действия. Я никак не могу скрыть от себя, что я лишаю его жизни. Я вытаскиваю его из воды — опять для меня невозможны никакие недоразумения. Я совершенно определительно знаю, что я спасаю ему жизнь. Таковы ли отношения человека к общим мыслям, к отвлеченным понятиям? Каждое слово, входящее в формулу моих убеждений, допускает столько различных оттенков смысла, принимает столько истолкований! Тут очень легки произвольные недоразумения пред самим собой; тут открыто, при всей добросовестности человека, самое широкое поле заблуждения пред самим собой. У трех людей в различных положениях на устах одна и та же фраза, о которой каждый из них говорит, что она выражает основное его убеждение: «я хочу справедливости», <...>. Значит ли это, что они сходятся в своих убеждениях и стремлениях? Не торопитесь объявлять их людьми одинакового образа мыслей. Прежде разберите, в каком смысле представляется эта фраза каждому из них. <...>

...[защитить] Буеракина, давно нами покинутого под тяжестью обвинения, будто бы его действия противоречат его убеждениям. Нам кажется, что обвинение против него взведено совершенно напрасно. Если вы, читатель, пренебрегаете Буеракиным, как человеком двуличным, как эгоистом, жертвующим своими убеждениями

своей лености или выгоде, вы введены в совершенное заблуждение, и притом очень грубое заблуждение, поверхностным предположением, будто бы Буеракин смотрит на вещи такими же глазами, как вы (я предполагаю, что вы смотрите на вещи такими же глазами, как я, — предположение также, быть может, ошибочное); вы введены в ошибку тем, что он употребляет фразы, которые употребляете вы, что он любит слова, входящие в состав этих фраз, точно так же, как вы. Но с чего же взяли вы, что под этими словами он понимает то же самое, что понимаете вы? Вникните хорошенько в выражения, которыми он окружает свои слова, одинаковые с вашими словами, и вы убедитесь, что в сущности он придает этим словам тот самый смысл, о каком свидетельствуют его поступки; вы увидите, что теоретическая сторона жизни этого человека совершенно соответствует практической; вы увидите, что Буеракин человек, верный в жизни своим убеждениям. Ключ к убеждениям Буеракина находится в тех фразах, которые произносит он по случаю ссоры между Абрамом Семёнычем и Федором Карлычем. По его мнению, Федор Карлыч прав, и сверх того без Федора Карлыча плохо пришлось бы самому Абраму Семенычу и его товарищам, как людям непривычным и неспособным к порядочной жизни. Кроме того, Буеракин совершенно убежден, что может положиться на Федора Карлыча, который верно соблюдает выгоды его, Буеракина, всего образа его мыслей и всей его жизни. Если вы убедитесь в том, вам трудно будет не признать полной добросовестности Буеракина. Вам могут не нравиться его убеждения, но вы не откажете ни убеждениям этим в искренности, ни лицу его в строгой честности и благонамеренности.

Мы много раз упоминали о том, что различие темпераментов и личных наклонностей не имеет столь важного влияния на образ жизни и деятельность людей, как многие предполагают. У Владимира Константиныча Буеракина есть родственник, с которым знакомит нас Щедрин в монологе, имеющем эпиграф: «*vir bonus dicendi peritus*»³. Темпераментом этот родственник совершенно отличается от Владимира Константиныча. У Владимира Константиныча есть наклонность к созерцательной жизни. У его кузена, напротив, чрезвычайно развита практичность. Тот — Платон, этот — Аристотель или даже Фемистокл. Так мы их и будем называть в нашей параллели, отчасти из подражания Плутарху, отчасти для краткости. Платон живет дикарем в деревне, Фемистокл — душа общества в губернском городе. Платон, как мы положительно знаем, человек холостой и любит волочиться. Фемистокл, по всей вероятности, женат, очень любит свою жену и совершенно верен ей (точно так же, как подруге,

которую имеет, конечно, независимо от жены). У Платона нет детей; а если б и были, то, без сомнения, пошли бы по миру нищими. У Фемистокла, без сомнения, есть очень миленькие дети, и отец так заботится о них, что хотя и достанется им наследство после их родственника Платона, но отец, не жалея своих сил, старается еще более обеспечить их будущность. Платона все считают злоязычником и избегают встречи с ним, хотя в душе, а часто и на словах, все над ним смеются и никто его не боится, все, напротив, помыкают им. Фемистокл чрезвычайно любезен и осторожен в обращении, все находят удовольствие быть с ним в обществе, но все боятся его. Одну только общую точку можно отыскать в личностях Платона и Фемистокла: оба они чрезвычайно обходительны с людьми, низшими их по званию, и вообще очень гуманны в своем обращении. Словом сказать — трудно найти контраст более полный и резкий, нежели контраст между Платоном и Фемистоклом, но, однако же, при всем бесконечном различии в темпераментах и наклонностях, речь Фемистокла могла бы служить продолжением и во всяком случае должна служить дополнением к речам Платона. Чтобы убедить в том читателя, мы приведем начало этой мастерской речи, одной из лучших в книге Щедрина:

«Если вы думаете, что мы имеем дело с этою грязью, avec cette canaille*, то весьма ошибаетесь. На это есть писаря, ну, и другие там; это их обязанность, они так и созданы... Мы все слишком хорошо воспитаны, мы обучились разным наукам, мы мечтаем о том, чтобы у нас все было чисто, у нас такие опрятные взгляды на администрацию... согласитесь сами, что даже самое comme il faut запрещает нам мараться в грязи. Какой-нибудь Иван Петрович или Фейер — это понятно; они там родились, там и выросли; ну, а мы совсем другое. Мы желаем, чтобы и формуляр наш был чист, и репутация не запятнана — vous comprenez?**.»

Повторяю вам, вы очень ошибаетесь, если думаете, что вот я призову мужика, да так и начну его собственными руками обдирать... Фи! Вы забыли, что от него там Бог знает чем пахнет... да и не хочу я совсем давать себе этот труд. Я, просто, призываю писаря или там другого, et je lut dis: “mon cher, tu me dots tant et tant!”*** — ну, и дело с концом. Как уж он там делает — это до меня не относится.

* С этой канальей (фр.).

** Вы понимаете? (фр.).

*** И я ему говорю: «Дорогой мой, ты мне должен столько-то и столько-то» (фр.).

Я сам терпеть не могу взяточничества — фуй, мерзость! Взятки опять-таки берут только Фейеры да Трясучкины, а у нас на это совсем другой взгляд. У нас не взятки, а администрация; я требую только *должного*, а как оно там из них выходит, до этого мне дела нет. Моя обязанность только исчислить статьи: гоньба там, что ли, дорожная повинность, рекрутство... *Tout cela doit rapporter**».

Много материалов для размышления представляет книга, «собранная и изданная г. М. Е. Салтыковым». Из двух или трех сот типов, представляемых записками его Щедрина, мы рассмотрели только три. Из двадцати трех статей, составляющих «Губернские очерки», мы коснулись только некоторых страниц из пяти очерков. Тот, кто захотел бы обсудить все замечательное и важное в «Записках» Щедрина, должен был бы к двум томикам его «Губернских очерков» прибавить двадцать огромных томов комментариев. Работа, — читатель, вероятно, ожидает, что мы скажем: громадная или утомительная? Нет, работа легкая и до такой степени заманчивая для пишущего, что трудно нам теперь сказать себе: «довольно, довольно, и без того статья уже длинна, вероятно, слишком длинна».

Читатели, по всей вероятности, совершенно разочарованы в своих предположениях содержанием нашей статьи. Читатели, вероятно, ожидали, что по поводу книги Щедрина мы будем говорить об общественных вопросах, которые возбуждаются «Губернскими очерками». Другие, быть может, думали, что мы коснемся художественных вопросов, ими возбуждаемых. Первая задача действительно имеет значительную привлекательность. Но пусть простят нас читатели. Гораздо интереснее показалось нам сосредоточить все наше внимание исключительно на чисто психологической стороне типов, представляемых Щедриным. Мы охотно признаемся, что этот личный наш вкус, быть может, ошибочен; но что ж делать? У каждого человека есть свои любимые пристрастия, есть свои любимые теории, есть свои любимые мысли, о которых он готов говорить кстати и некстати. У нас два таких пристрастия: во-первых, склонность к разрешению чисто психологических задач, во-вторых, склонность к извинению человеческих слабостей. [С этими двумя мыслями мы взялись за «Губернские очерки». Признаемся, нас очень мало интересовали все эти так называемые общественные язвы, раскрываемые в «Губернских очерках». Сказать ли откровенно? Мы даже придерживались той теории, что не дело беллетриста заниматься исцелением

* Все это должно приносить доход (фр.).

этих язв. Быть может, мы достойны за то названия людей, отставших от века, быть может, какой-нибудь остроумец найдет какую-нибудь точку сходства между нами и подъячим прошлых времен, а быть может, иной и благонамеренный, но слишком желчный человек скажет, что мы скорее защищаем, нежели осуждаем злоупотребления, против которых так благородно восстает Щедрин. Быть может даже, иной честный читатель пришлет нам негодующее письмо, в котором объяснит, что статья с таким направлением, как наша, была бы приличнее «Северной Пчеле»⁴, нежели «Современнику». Упреки эти были бы горьки, но, по совести, мы не можем сказать, чтобы они были совершенно незаслуженны; пусть это решат другие, в своем деле никто не судья!] Нам показалось, что, защищая людей, мы не защищали злоупотреблений. Нам казалось, что можно сочувствовать человеку, поставленному в фальшивое положение, даже не одобряя всех его привычек, всех его поступков. Удалось ли нам провести эту мысль с достаточной точностью, пусть судят другие.

Что же касается литературных достоинств книги, изданной г. Салтыковым, — о них также пусть судят другие. «Губернские очерки» мы считаем не только прекрасным литературным явлением, — эта благородная и превосходная книга принадлежит к числу исторических фактов русской жизни.

«Губернскими очерками» гордится и долго будет гордиться наша литература. В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Честно имя его между лучшими, и полезнейшими, и даровитейшими детьми нашей родины. Он найдет себе многих панегиристов, и всех панегириков достоин он. Как бы ни были высоки те похвалы его таланту и знанию, его честности и проницательности, которыми поспешат прославлять его наши собратья по журналистике, мы вперед говорим, что все эти похвалы не будут превышать достоинств книги, им написанной.

